НЕВЕЧНОСТЬ

МАРУ АГИ

16+

Мару Аги
Невечность

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66690786
SelfPub; 2021

Аннотация

Когда реальность соприкасается с неведомым и необъяснимым, замри и смотри внимательно.

В сборнике представлены законченные мистические и фэнтези рассказы.

Содержание

Хижина у вулкана 4
Долг 11
Марта 15
Невечность 21
Чёртова метка 25
Зима на Литейном 38

Мару Аги
Невечность

Хижина у вулкана

Слабый свет от лампочки подползает к стенам и тут же отступает под натиском тьмы. Она кажется осязаемой грязно-серой субстанцией, ползущей изо всех щелей. Я пытаюсь осмотреться, но взгляд постоянно цепляется за узоры на стенах, где, будто вплавленные в дерево, застыли лица с пустыми глазницами и разинутыми в крике дырами ртов. Я трясу головой, отгоняя видение – это просто рисунок дерева, мрак и усталость играют со мной. Мозг активно сопротивляется темноте, рисуя пугающие образы там, где их нет и быть не может.

Одинокая лампочка под потолком противно звенит, и слабый свет заходится в конвульсивном мигании. Агония продолжается недолго: вскоре свет гаснет, и в тот же миг со всех сторон на меня наваливается ледяная темнота. В воздухе стоят запахи трав и близкого дождя, необработанного дерева и влажной шерсти. Я замираю в оцепенении.

Ветер ударяет в окно – стёкла жалобно дребезжат в слабом сопротивлении. Хижина тяжело и протяжно вздыхает. Сердце заходится в исступлении: кажется, что стены старой хиба-

ры ожили и обступают меня, надвигаются – вот-вот сомкнутся, раздавят, как мошку. Я заставляю себя пошевелиться: под ногой по-мышиному взвизгивают половицы.

Постучав фонариком о ладонь, снова пробую его включить – бесполезно. Батарейки сели или отсырели окончательно. Я зажмуриваюсь и считаю до двадцати, чтобы быстрее привыкнуть к темноте. Открыв глаза, с удивлением отмечаю, что это сработало: из густой, почти осязаемой тьмы выплывает проём окна. В единственной комнате слабо обозначаются искажённые очертания предметов.

Выставив руки вперёд, я пробираюсь к двери маленькими шажками. Нога, подвёрнутая при вчерашнем переходе, болит сильнее прежнего. Поэтому я и плёлся сегодня в хвосте группы, поэтому так безнадёжно отстал.

В углу на куске линолеума стоит старый аккумулятор: какие-то умельцы приволокли его сюда и провели лампочку, подвесив под низким потолком на изогнутый гвоздь. Аккумулятор явно разрядился. Удивительно, что лампочка вообще зажглась, когда я вошёл.

– Могли бы и генератор привезти, – ворчу я. От звука собственного, охрипшего от долгого молчания голоса, становится не по себе.

По крыше бьют первые тяжёлые капли. Ветер в очередной раз набрасывается на хижину, обрушивая невидимые кулаки на дверь и стены. Из щелей тянет холодом. Вот бы развести огонь!

Небольшая печь стоит не в центре помещения – левее и ближе к противоположной от двери стене, но не вплотную, чтобы вокруг оставалось достаточно места для пришедших на ночлег путников.

При свете лампочки я не заметил нигде ни дров, ни газет – ничего, чем можно было бы растопить печь.

– Сжечь бы тебя целиком, проклятая хибара! Отодрать пару трухлявых половиц, разломать на щепки и поджечь!

Я представляю, как огонь потрескивает в печи, окрашивает комнату нежным оранжевым светом, как теплеют кирпичи и согреваются мои ладони, прижатые к шершавой, крошащейся поверхности.

Дождь уже вовсю лупит по крыше, будто кто-то сыпет горох из бездонного мешка на жестяную поверхность. Смысла идти на улицу и искать дрова нет: в такую темень под ливнем в лучшем случае вымокнешь до костей, а в худшем – не найдёшь дороги обратно. Или наткнёшься на хищника – медведей и росомах здесь не меньше, чем комаров. Или переломаешь ноги, угодив в застывший лет двести назад лавовый поток.

Вулкан ещё в обед заволокло туманом; залило молоком, как говорят местные. Тогда-то я и отстал от группы окончательно. Повезло, что вовремя додумался вернуться и к ночи добрался сюда. Повезло – вот о чём надо думать. До смерти не замёрзну, разве что простужусь, а завтра кто-нибудь обязательно придёт на помощь. По крайней мере такой план мы

обсуждали с проводниками перед началом тура.

– Давай спать, – шепчу сам себе и не слышу слов из-за громыхания дождя и воя ветра снаружи.

Я раскатываю каремат, бросаю на него спальник. Разуваюсь и вытаскиваю из ботинок сырые стельки. Куртку и штаны поспешно раскладываю на полу без особой надежды на то, что за ночь ткань просохнет. Стуча зубами, залезаю в спальный мешок. Засыпаю я быстрее, чем успеваю согреться, и даже дёргающая боль в голеностопе затихает.

Из липкого, беспокойного сна меня вырывает звук: протяжный скрип, словно кто-то водит пальцами по влажному стеклу. Я рывком поднимаюсь и смотрю в окно – никого. Не проходит и минуты, как дверь открывается с протяжным скрипом. В дом врывается ледяной ветер, лицо обдаёт влагой. На пороге в стене дождя застыл силуэт.

– Закрывай дверь! – ору я.

Человек шагает внутрь, тянет дверь на себя, вырывая её из цепких пальцев ветра.

– Марк, это ты? – Справившись с дверью, фигура замирает у входа.

– Соня? – я узнаю голос девушки из нашей группы.

– Да. Я… Отстала, потерялась в тумане и решила вернуться. Еле нашла это место, думала – всё! – Соня, всхлипывая и пошатываясь, подходит ближе.

Я сажусь, высвободив торс из спальника: влажное тепло с

едва нагретого тела тут же срывает сквозняк.

– Где твой фонарик? – мне до жути хочется хотя бы на мгновение рассеять мрак в этой хибаре.

– Сдох. – Соня вытаскивет фонарик из кармана куртки, стучит им о ладонь и пару раз щёлкает выключателем. – А ещё я бросила рюкзак со всеми вещами, – она снова всхлипывает, – еле ноги переставляла под его тяжестью. Надо было, наверное, спальник забрать…

Её трясёт от ужаса и холода.

– Раздевайся и залезай ко мне, – командую я.

Соня судорожно вздыхает и небрежно сбрасывает мокрые вещи. Потом спохватывается и раскладывает их на полу.

– Давай скорей, – я расстегиваю мешок, и она ложится рядом.

– Спасибо, – шепчет Соня и возится, устраиваясь поудобнее. – Ненавижу походы!

– Зачем же пошла? – теперь мы так близко, что я чувствую каждый сантиметр прижатого ко мне тела.

– Ну надо же хоть раз в жизни сделать что-то безумное, – с натужным смешком говорит она, и лёгкое дыхание касается моей шеи. – Подумать только: сложность этого восхождения на сайте туроператора оценивается на два из пяти! Вернусь домой – напишу на них жалобу!

Я улыбаюсь. Соня мне нравится: я с самого начала похода обратил на неё внимание.

Она снова ёрзает, и я чувствую горячую ладонь на своей

груди.

– Ты не против? А то рука затекла.

– Всё нормально, устраивайся, как удобно.

– Спасибо, – она кладёт голову на моё плечо. – Хорошо, что ты тоже здесь. Одна я бы свихнулась…

Рядом с Соней я наконец-то согреваюсь и снова проваливаюсь в беспокойный сон, но ненадолго: горячая ладонь соскальзывает с моей груди вниз.

Соня часто и прерывисто дышит, и мне не требуется объяснений, что делать дальше. Мы целуемся и принимаемся стаскивать друг с друга одежду. В спальнике тесно и жарко – приходится расстегнуть его.

Я чувствую, как с обнажённой кожи испаряется влага и тепло. Постепенно слабый скрежет дерева под нами становится громче, но я слишком поздно обращаю на это внимание…

***

– Здесь вещи! – кричит из хижины проводник. – Рюкзак и спальник Марка – я помню эту нашивку с медведем.

Его напарник спешит внутрь.

Группа из девяти туристов вместе со старшим проводником осталась в палаточном лагере на склоне, а их двоих отправили искать отставшего, как только видимость стала чуть больше двух метров. Пока они спустились к подножию и дошли до хижины, наступило хмурое утро, клочья тумана рас-

тащил ветер.

– Чёрт, он что, всё с себя снял?

Мужчины осматривают распахнутый спальник и разбросанную на полу одежду.

– И куда же он подевался? Голый, – усмехается один.

– Не смешно, придурок, – отрезает второй. – Надо вызвать спасателей, и обойти периметр. – На ходу вытаскивая рацию, он выбегает из хижины. – Чёрт бы побрал… – Ругательства уносит ветер, дверь с грохотом захлопывается.

Оставшись один, проводник осматривается. Чистый утренний свет льётся в окно, но в хижине всё равно царит полумрак, который, кажется, не разогнать и софитами. Их команда никогда не останавливается здесь на ночлег – ребята предпочитают разбивать палатки снаружи. Так уж у них повелось.

Мужчине кажется, что со стен, будто вплавленные в дерево, на него смотрят застывшие лица с пустыми глазницами и разинутыми в крике ртами. От основания позвоночника поднимается волна страха, холодом сковывая мышцы: фигуры медленно движутся, натягивая дерево, словно кожу.

– Ты идёшь? – от крика напарника проводник вздрагивает и, спотыкаясь, спешит покинуть хижину.

Долг

«Кап… Кап… Кап…» – тяжёлые капли глухо ударяются о бетонный пол.

Лучи фонариков бесполезно елозят по стенам, нисколько не рассеивая тьму.

– Не пойму, откуда звук? – шепчет Оскольцев.

– Оттуда, – отзываюсь я, указывая в дальний угол подвала.

– Что за мерзкое место, – ворчит напарник.

Под ногами склизкое месиво, подошвы вязнут в нём, отрываясь от пола с противным чавканьем. Пахнет гнилью.

– Ох уж эти анонимные звонки в полчетвёртого утра! – вздыхает Оскольцев. Он идёт первым, вытянув вперёд руку с фонариком. – Наверняка в этой дыре сто лет никого не бывало.

– Да точно подростки балуются, – отзываюсь я.

– Вот чёрт! Глянь сюда! – Оскольцев смотрит куда-то вверх и, судя по всему, ничего хорошего там нет.

На балках под потолком лежит тело. Открытые глаза затянуты матовой мутью. С пальцев сползают тягучие тёмные капли. Нос заполняет знакомый, еле уловимый запах, от которого сводит живот.

Оскольцев выхватывает пистолет.

– Убери пушку, нет здесь никого, – вздыхаю я. – Иди наверх, вызывай криминалистов.

– Может, она ещё жива? – с сомнением произносит напарник, опуская оружие.

– Даже если так, сами мы её не достанем.

Я провожаю Оскольцева взглядом, пока он, бурча проклятья, быстро поднимается по лестнице.

– Слезай, мерзкая гадина, – шиплю я, убедившись, что напарник не услышит. Мёртвое лицо расплывается в улыбке.

Женщина на четвереньках ползёт по балкам к стене. Её движения дёрганые, рваные. Луч фонаря подрагивает, выхватывая точёную фигуру из темноты.

Она по-паучьи спускается по стене и спрыгивает на пол. Босые ступни шлёпают по жиже на полу.

– Я так ждала тебя… – женщина быстро подходит и прижимается ко мне всем телом. Проводит ледяным пальцем по нижней губе, а затем опускает руку и гладит меня между ног.

Когда-то я заводился от одного её прикосновения. Как давно это было… Перехватываю её запястье, с силой сжимаю и отвожу в сторону. Хочется заорать, выхватить пушку и высадить в неё всю обойму.

– Ты обещала не лезть ко мне, когда я на службе, Марьяна!

– Но я скучала! – Она примирительно улыбается, показывая мелкие острые зубы. – Ты совсем не навещаешь нас, вечно занят… Вот мы и решили переехать, чтобы быть поближе к тебе.

Я молчу, сжав челюсти, и улыбка медленно сползает с её лица.

– Ты мог бросить меня, Громов, но не наших детей!

Наверху слышится возня. Топот маленьких ножек. Вопль Оскольцева эхом разносится по пустым помещениям над цокольным этажом – парень не успел дойти до патрульной машины… За оборвавшимся криком следует громкий хруст, влажные шлепки и чавканье.

– Чёрт возьми, это был мой напарник… – бормочу я сквозь зубы.

– Твои дети должны что-то есть! – злорадствует Марьяна. – Не могу припомнить, когда ты последний раз заботился о полноценности их рациона.

– Папа! Папа! – Из темноты появляются двое, набрасываются на меня, обхватывают тонкими ручками, перепачканными кровью. Мои сын и дочь. Артуру семь, а Лизе исполнится пять в октябре.

– Ты останешься, поиграешь с нами? – спрашивает Лиза. Я подхватываю её на руки и целую в чумазую щёку. – Останься…

– А можно нам переехать куда-нибудь, где будет побольше людей, чтобы охотиться? Здесь ужасно скучно! – перебивает сестру Артур. Я крепко прижимаю паренька к себе.

Сердце с болью сжимается. Я и не подозревал, как сильно скучал по ним. Марьяна права: дети не должны страдать из-за ошибок родителей.

– Мы что-нибудь придумаем, – отвечаю всем сразу, – и я

буду навещать вас чаще, обещаю.

Марта

Темно. Воняет сыростью, кислятиной и чем-то непередаваемо тошнотворным. Марта медленно крадётся к лестнице. Ступни противно липнут к полу, и в гулкой тишине звук отрываемых от грязного линолеума подошв похож на выстрелы.

Боль пульсирует в затылке и вызывает волны дурноты: отступая, они неизбежно накатывают снова. Пустой желудок ноет, требуя пищи, но Марта знает, что сможет проглотить лишь немного воды. И это было бы кстати – во рту совсем пересохло.

В пятку вонзается что-то острое. Марта ойкает и обеими руками зажимает рот. «Нет, нет, нет, тише, тише, тише!» – повторяет про себя, как заклинание.

За спиной раздаётся шорох, и Марта, зажмурившись, не дыша, замирает на месте. Время вязко тянется под звуки возни, сопение и вздохи.

Во вновь воцарившейся тишине Марта добирается до лестницы, тяжело поднимается по холодным ступеням, приоткрывает дверь и беззвучно, словно тень, выскальзывает из подвала.

Наверху уже не так темно: вездесущий свет находит лазейки в старых истёртых портьерах, позволяя глазам различать привычную обстановку.

Пыль душным слоем укрывает мебель, в углах собирается клубками, подрагивающими на сквозняке. Всё свободное пространство небольшой кухни-гостиной заставлено банками с сухой молочной смесью и бутылками с самогоном. На нитках, натянутых низко над головой, сушатся зловонные пучки болиголова.

Марта подходит к раковине, полной бутылочек с остатками смеси. «Надо бы помыть…» – отстранённо думает она, включает воду и припадает пересохшими губами к ледяной струе. Кажется, она могла бы осушить море, но место внутри быстро заканчивается. Дрожащей рукой Марта поворачивает кран и вздрагивает: в дверь стучат.

«Кого ещё чёрт принёс?» – шаркает к двери, неуклюже лавируя между башенками банок и батареями бутылок. Стук повторяется.

Убедившись, что цепочка накинута, а под рукой, в подставке для зонтов, дулом вниз стоит охотничье ружьё, Марта спрашивает:

– Кто? – от долгого молчания горло выдаёт сдавленный хрип.

– Я это, – отвечают из-за двери. – Поговорить бы.

Сердце Марты подпрыгивает и принимается гневно колошматить по рёбрам.

– Не о чем нам говорить, проваливай.

– Открывай, – шипит гость, – а то разбужу твоих выход-

ков.

Марта подхватывает ружьё, ставшее для её ослабевших, высохших рук слишком тяжёлым, и поворачивает ключ. Дверь приоткрывается на несколько сантиметров. Солнце врывается в дом, больно бьёт по глазам, привыкшим к темноте.

– Твою же мать, ну и вонь! – мужчина по ту сторону морщится и прикрывает нос воротником джинсовки. – И на кого ты похожа?

Марта машинально опускает взгляд. Короткий халат на молнии из когда-то розовой плюшевой ткани покрыт заскорузлыми пятнами и порван в нескольких местах. На руках и ногах – кровоподтёки и синяки: от свежих, ярко-сливовых, до старых, желтовато-охристых.

– Марта, впусти меня, – мужчина хватается за приоткрытую дверь, приникает лицом к самой щели: – Ты не справляешься, это очевидно. Да никто бы не справился в одиночку! Прошу, позволь тебе помочь.

Непривычно мягкий, проникновенный тон не вяжется с хищным взглядом таких знакомых и когда-то родных глаз.

Секунду Марта стоит неподвижно, а затем с усилием вскидывает ружьё, привычным движением устраивая приклад у плеча.

– Уходи.

– Ты больная! – мужчина больше не притворяется. Маска слетает так быстро, словно он лишь в шутку примерил и тут

же отбросил заведомо неподходящую вещь. – Какого чёрта ты творишь?! Опомнись, дура, это не твои дети! От них нужно избавиться. На чёрном рынке выручим столько денег, что до конца дней сможем блаженствовать в райских, мать их, кущах!

Мужчина с силой толкает дверь, с корнем вырывая хлипкую цепочку, и входит в дом. Марта отступает на шаг, крепче сжимает ружьё и целится прямо в сердце.

– Из-за тебя у меня не может быть своих детей. А эти были ниспосланы мне свыше кем-то более милосердным, чем люди, – твёрдо говорит Марта. – Уходи, иначе выстрелю.

Из подвала доносится скрежет и нарастающее ворчание. Марта, не опуская ружья, делает ещё один шаг, но не назад, а чуть в сторону:

– Хотя, возможно, ты опоздал…

***

– Уже совсем взрослые мальчики, так свинячить в доме больше непозволительно, – ворчит Марта и усердно трёт пол в гостиной.

Пыльные портьеры давно сняты с карнизов, в открытые окна льётся солнечный свет. Ветер разносит по дому аромат цветущего в саду жасмина. На Марте бежевые льняные брюки, закатанные чуть выше щиколоток, и свободная белоснежная рубашка. Пшеничные с розоватым отливом волосы уложены аккуратными волнами. На губах подрагивает роб-

кая улыбка.

Закончив с уборкой, Марта выходит на крыльцо. На лужайке возле дома играют её дети. Три любимых сына носятся друг за другом, валяются в траве, скачут по деревьям и пачкаются, пачкаются, пачкаются… Мальчишки, что с них взять.

– Подумать только, совсем недавно вы были такими маленькими, беспомощными… – вздыхает Марта. – А скоро перестанете помещаться в доме…

– Марко, Ханс, Микке! – зовёт Марта и быстро смахивает с ресниц непрошеные слёзы. – Обедать!

Услышав зов матери, Марко, Ханс и Микке ракетами устремляются к дому.

Долгие месяцы, проведённые в подвале с тремя малютками, проносятся в памяти Марты за считанные секунды.

Она скрупулёзно соблюдала все эти сложные правила: уровень влажности, температура, темнота… А молочная смесь с самогоном?! Вот кошмар! И этот гадкий, вонючий болиголов, из-за которого ей постоянно было тошно. Все эти дни она плохо спала, почти не ела, пила лишь ледяную воду. Высохла, как гербарий, постарела. Но справилась. Да, справилась, потому что она – хорошая мать.

Притормозив возле Марты, Марко, Ханс и Микке по очереди нежно тычутся мордами в её мягкий живот и утробно урчат. Изумрудная чешуя сверкает на солнце.

– Ах, негодники! – смеётся Марта и гладит сыновей по

шершавым макушкам. – Дети есть дети.

Невечность

Вязкий липкий туман пахнет гарью и проникает повсюду: забирается в нос и уши, сползает по горлу, растекается по венам. Лезет за пазуху, закрадывается в рукава.

Чёрные свечи сосен уходят в бледное небо, будто желая оторваться от осквернённой земли.

Ты идёшь, оглядываясь, оскальзываясь. С тяжёлым дыханием изо рта вырывается пар.

Наступаешь на сухую ветку и вздрагиваешь от оглушительного треска, разрывающего мёртвую тишину.

Я слышу, как стучит твоё сердце – быстро, отчаянно: «Тук-тук, тук-тук!» Чую, как по спине ползёт мороз. Вижу бьющуюся жилку на шее, дрожащие пальцы…

Ворон с пронзительным криком бросается в небо, тряхнув тяжёлую еловую ветку. Иголки маленькими стрелами летят вниз, царапают кожу, застревают в волосах.

Я касаюсь мягких прядей – оборачиваешься, но никого нет. В распахнутых глазах – страх. Ты боишься, но всё равно пришёл.

Смотришь на крошечную лачугу с поросшей мхом крышей. Скорбный склеп из камней и старого дерева, запах прелой листвы и гниения, тишина – моя обитель.

Пройди мимо. Беги!

Слышишь мой шёпот.

– Катя!

Зачем заговорил?! Сгинь, уйди… Молчи!

– Катя, ты здесь? – звуки не разносятся эхом, не звенят в вышине – глухо падают на землю и замирают.

Я ещё помню крики людей: «Ведьма! Гори, ведьма!» Чую вонь палёной плоти. Вопль, застрявший в горле. Боль… Сколько боли… И твои глаза за пожирающими меня языками пламени. Смотри же ещё!

Открываю скрипучую дверь.

Смотри на меня! Вот я. Настоящая. Ведьма! Рот скривился от отвращения – тебе не нравится моя новая кожа, мои тёмные волосы, глаза цвета крыла ворона? Чего же ты ждал?

Огонь очищает, освобождает от человеческого бремени. Я больше не принадлежу твоему миру. Зачем потревожил меня?

– Прости…

Нет, не хочу. Не хочу вспоминать! Тепла твоей кожи, твоей тяжести. Твоих губ на моей груди. Забыть, забыть!

– Сгинь! – кричу, но рот зашит грубыми нитками. Из глаз по обожжённым щекам ползут холодные чёрные ручьи.

Ты в ужасе отступаешь, падаешь на землю и всё смотришь на меня. Кого же ты хотел увидеть?

Вдыхаю густой туман: близко, уже совсем близко.

Тяну руку к твоему лицу: не смеешь пошевелиться, скованный кошмаром, от которого не проснуться, не сбежать. Провожу ледяными пальцами по мягкой коже: такой тёплой,

такой живой…

Пахнет травами, потом и молоком… Спину царапает грубое дерево. Белое платье валяется на грязном полу. Из корзины рассыпались красные яблоки, треснули от спелости, истекают сладким соком.

«Люблю тебя», – шепчет светловолосый принц, целуя наивную девчонку.

Грудь разрывает крик, неспособный выйти наружу.

– Хочу… освободить тебя, – произносишь непослушными губами.

Глупый, глупый… Я уже свободна! А ты?

Трещит, разрываясь, плоть.

Как быстро ты затих, как безмятежно смотришь в небо.

Сердце ещё трепещет в ладонях, выпуская тёплый пар в холодный воздух. Держу твой подарок, твою дань. Свою месть. Сжимаю, впиваюсь острыми когтями в тугую красную плоть – по рукам струятся алые реки.

Приказываю: «Стучи!» – и с улыбкой закрываю глаза.

Выстрел пронзает тишину. Пуля пробивает грудь. Разлетаюсь звонкими осколками, перьями белого ворона, утренними росами…

– Говорил же, малец приведёт к ведьме. Околдовала, проклятая! – кузнец опускает ружьё, сплёвывает на землю и

неуклюже крестится. – Ну, теперь уж всё кончено, успели к третьему дню. Рассыпалась прахом от серебряной пули… Ведьма!

– Она его сердце того, вырвала, – лепечет юноша, выглядывая из-за широкой спины отца.

– Вот будет тебе уроком, – гремит кузнец и поворачивает лошадь, – не таскай девчонок на сеновал раньше времени!

– А он как же?.. Мы его не заберём? – юноша оглядывается на бездыханное тело, распростёртое на земле, не в силах оторвать взгляда от тёмного провала в центре груди.

Холодный густой туман крадётся к мертвецу, тянет к нему свои щупальца.

– То ж ведьмина дань, дубина ты, – ворчит кузнец. – Всему вас учить надо!

На мягком зелёном мху, словно спелое красное яблоко, лежит, истекая соком, твоё сердце. Тук… Тук… Тук…

Чёртова метка

Лето пришло жаркое и сухое. Чёртово пекло – так говорят.

Днём зной стоит недвижимо, – точно дух в истопленной по-чёрному бане, – не спрятаться от него, не скрыться. И даже ветер, страшась обжечься, облетает село стороной. Лишь к полуночи чуть остывает воздух, чтобы с первыми лучами солнца всё повторилось сызнова…

В богатой купеческой избе душно. Три высоких, узких оконца, украшенных воздушными заморскими тюлями, заперты на щеколды. Тяжёлая дверь, ведущая в сени и обитая войлоком, закрыта плотно, будто на дворе лютая зимняя стужа.

Просторную горницу украшает высокая, фигурная да пёстрая, изразцовая печь на золочёных ножках. Слева от печи – широкая лестница, ведущая наверх, во светёлки. Справа – большой расписной сундук с откинутой крышкой. В углу над сундуком, под самым потолком – иконы в резных рамах.

За круглым дубовым столом под окошком сидит девушка в простом белом сарафане с голубым орнаментом на поясе и широких рукавах. Она так увлечена шитьём, что и не чувствует духоты: тонкие пальцы порхают над топко-синим штофом. До чего же хороша ткань! Иголка ловко ныряет в плотный, гладкий шёлк и тянет за собой золочёные нити, вы-

писывая драгоценный узор…

Ткань эту и нитки папенька привёз для Нади с ярмарки ещё весной.

– Дорогие, наверное! – воскликнула Надюша, увидав отцовы подарки.

– Никаких денег не пожалею для моей мастерицы, – пробасил отец и осторожно погладил дочь по голове.

А узоры у Нади и вправду выходят чудные.

Вот на лазурной тафте застыли, расправив огромные крылья, дивные птицы с длинными шеями и хохолками-коронами. Каждое пёрышко переливается на свету перламутром, и веришь, что сейчас встрепенутся вышитые птицы и полетят по гладкой ткани, что пó небу.

А вот распускаются на изумрудном шелку невиданные цветы. Лепестки их нежные, хрупкие – так и тянется рука прикоснуться. И то ли мерещится, то ли вправду исходит от них нежный, тонкий аромат.

Бывает такой замысловатый узор получится: сразу и не разберёшь, что вышито. Потом приглядишься – ба! – да то ж олени тонконогие по степи скачут! А коли не поленишься, ещё присмотришься, тут-то и увидишь, как девушки-красавицы водят хоровод вокруг костра…

Никто никогда не спрашивал у Нади, откуда берутся эти узоры, а спросили бы – она б не ответила. Того Надя и сама не знает. Да только увидевши ткань и взявши в руку иголку с ниткой, она уж не остановится, пока не закончит картину. И

ни одного лишнего стежка не положит – будто рукой её кто-то водит… Нечистый дух, али кто?

Матушка, увидав новую Надину работу, только крестится и прячет шитьё в сундуки.

Вышивание да батюшкина нежность – вот и все Надины радости. Да ещё, пожалуй, ночные прогулки, на которые она выбирается тайком каждый раз, как восходит полная луна. Молочно бледная или жёлтая, как яичный желток. А, бывает, и красная, точно капелька крови. Далёкая и туманная или близкая и щербатая. Луна всегда разная.

Вспомнив большую, круглую луну, Надя вздыхает: скоро, скоро снова призовёт её ночное светило. И тут уж никак не усидеть ей в доме, взаперти…

С самого детства у Нади внутри тикают лунные часики. Отмеряют, как прибывает месяц, округляется, превращается в полное лунное яблоко. Покрасуется на небе ночку, а затем убывает себе потихоньку, словно кто острым ножичком срезает по тонкой дольке.

И всегда-то Надины часики знают, когда наступит полнолуние – ни разочка ещё не ошиблись.

В сенях раздаётся шум и голоса. Надя подскакивает с лавки и прислушивается, схватившись за длинную свою русую косу.

Точно, идут! Близко уж!

Наскоро набросив на вышивку тряпицу, Надя подбегает к раскрытому сундуку, залезает внутрь и тихонько опускает

над собою крышку.

***

Круглые плечи купчихи Аглаи Федосеевны укрывает воздушный платок из серой органзы. Ступает она величаво, церемонно несёт своё пышное тело, словно богато украшенный свадебный каравай. Широкая юбка из чёрной парчи без узора еле слышно шуршит.

Кума её, Лизавета, в цветастом домотканом платье и беленькой пелеринке, семенит следом. Шажочки у неё меленькие да быстрые. То и дело она замирает, приглядывается, прислушивается, поводит вострым носиком – ну, точно лисица рыщет.

Оглядев горницу, Лизавета семенит к оставленному на столе шитью. Приподняв тряпицу, поджимает тонкие губы и качает головой.

Золотыми нитями на тёмно-синем шёлке вышиты степные травы и цветы, да так искусно – словно красками на холсте выписаны. Того и гляди налетит ветерок, качнёт пушистые верхушки мятлика и принесёт в душную горницу свежий, горький аромат ночной степи.

Лизавета вздрагивает, отводит взгляд от вышивки и сладко улыбается купчихе:

– Где же твоя Надежда-красавица, а, Федосевна?

Купчиха, тяжело вздохнув, грузно садится за стол и подпирает толстую щёку рукой.

– Ох, Надежда моя, Надежда, – начинает Аглая Федосеевна, будто только и ждала того вопроса. – Правду говорят, Лизавета: от судьбы не уйдёшь. Кого чёрт пометил, тот несчастным и помрёт.

– Да что ты, кума! – Лизавета плюхается на лавку напротив Аглаи Федосеевны. – Так уж и чёрт!

– Так я ж ейная мать, мне ли не знать? – выпучив глаза, купчиха тычет себя в ляжку: – С рождения у ней вот туточки, на бёдрышке, пятно проклятое!

– Како тако пятно? – Лизавета, не скрывая любопытства, подаётся вперёд, навалившись на стол костлявой грудью.

– Копыто сатанинское, – шепчет купчиха, подобострастно крестится на угол с иконами и громко всхлипывает: – А мы её возьми да окрести ентим именем окаянным! Ведь завещала мне матушка: не нарекай дочерь Надеждой – несчастная будет судьбинушка. Не послушалась я мать, и что ж?! Девке осьмнадцатый годок, а никто сватов не шлёт, никто замуж не берёт!

Тут Аглая Федосеевна заходится плачем. Дородные плечи купчихи вздрагивают, и вся она колышется, точно студень.

Лизавета вскакивает с лавки, вынимает из-за пазухи носовой платок и обмахивает им безутешную куму. Затем помогает Федосеевне встать и, причитая, уводит из горницы.

Шаги и голоса затихают.

Надежда вылезает из сундука, опускает крышку, садится сверху и беззвучно плачет.

***

В амбаре не протолкнуться. Закупоренные бочки с соленьями да вареньями стоят рядами. Мешки с тем зерном, какое удалось спасти от чёртовой жары, поверх бочек уложены. Ящики с сыромятными кожами друг на дружку составлены. А посредине амбара стоит здоровенный сундук на тяжёлом висячем замке, доверху заполненный пушниной.

Всё проверено, подсчитано, готово к ярмарке – осталось погрузить на телегу, да в путь с рассветом отправиться. Но не хочется купцу уезжать из родного дома. Неспокойно у него на душе, муторно.

В сердцах топает купец ногой, срывает с темени красную бархатную шапку-тафью и бросает об пол.

– Ох и бабы, дурное племя! Трещат без умолку, да всё одни глупости! – басит купец, потрясая кулаком над головой.

Эх, ему бы косу в руки, да в поле поутру – весь гнев, как есть, в работу добрую уйдёт. Да куда уж там – дела! Вот и бранишься почём зря, запершись в амбаре с мешками да с бочками.

– В портки бы их мужицкие обрядить, да в поле – пущай пашут! – шипит купец сквозь зубы. – Вся дурь и выйдет, как есть. Тьхфу, окаянная! Сама ереси придумала, сама слухи распустила, сама ревмя ревёт! А дочка единственная, дитятко ненаглядное, страдает…

Купец пинает шапку и, развернувшись, уходит, громко то-

пая сапогами.

***

Наде не спится. Лучина давно прогорела, но в окошко светёлки льётся желтоватый шёлковый свет. Встав на колени перед окном, Надя глядит на круглую, как яблоко, луну. Она знает: не пора ещё, рано.

Откуда знает?

И что за неведомые силы тянут её каждое полнолуние из дому? Чует Надино сердце – те самые это силы, что и рукой её водят, помогая вышивать картины невиданные.

Поди, правду матушка сказала…

«Раз я несчастная, раз я чёртом меченая, что ж отца с матерью позорить? Сбегу!» – думает Надя, глядя на бледную луну и сжимая в ладонях свою толстую косу.

«Да куда бежать-то? К цыганам? Они лошадей крадут, по сёлам ходят да детишек с собой уводят… Ой, нет, только не к цыганам!»

Луна мерцает и расплывается, а по Надиным щекам тяжёлыми каплями катятся слёзы.

«В лес? Там медведи, звери лютые… Задерут! – Надя всхлипывает и тут же зажимает рот ладошкой. – Да хоть и так, пусть, пусть задерут!»

«Тятенька-то горевать станет… Да нёшь пуще по мёртвой, чем по несватанной? Ах, ну что же за доля моя горькая, одинокая, безнадёжная…»

Надя закрывает глаза и ложится на пол поверх пёстрого половичка, который давным-давно соткала для неё покойная нянюшка.

Лунный свет переливается через оконную раму, струится по стене, стекает на пол и собирается вокруг Нади в небольшое озерцо. Свет в озерце колышется, ласкает тонкие и стройные Надины руки, гладит нежное девичье лицо, и слёзы на щеках потихоньку высыхают.

«Убегу, – думает Надя с каким-то необычайным спокойствием. – Вот уедет тятя на ярмарку, и тут же убегу в лес.»

Надя открывает глаза и садится, всколыхнув озерцо света, – сердце забилось в груди, точно пойманная птаха, – того и гляди выскочит!

А луна всё глядит на Надю через окошко, мерцает щербатым своим ликом и… улыбается?

«Али вот что: поеду-ка с отцом вместе! Прикачу из амбара пустую бочку, втащу на телегу, да и залезу внутрь. Отъедем подальше, а там уж, авось, придумаю, что делать».

***

Ранним утром, ещё до первых петухов, полная товаров телега, запряжённая тройкой гнедых, выезжает на столбовую дорогу. Купец на козлах зевает, треплет по шее верного сторожевого пса. И не знает, что в старой бочке, пропахшей соленьями, увозит из родимого дома свою единственную дочь.

Путь до ярмарки неблизкий. Купец правит целый день, и

только на ночь останавливает телегу посреди степи.

Услыхав храп отца, Надя толкает крышку, потихоньку вылезает наружу и спрыгивает с телеги. Тут же у её ног появляется огромный мохнатый пёс.

– Полкан, я это, – шепчет Надя и протягивает псу руку. Успокоив собаку, растирает затёкшие ноги и оглядывается.

Отец крепко спит на соломенном тюфяке возле заднего колеса, подложив под голову мешок с зерном. Чуть поодаль, в неглубокой ямке, ещё теплится разведённый им костерок.

Даже во сне тятя хмурит густые, широкие брови, но Надя знает: он лишь с виду такой грозный, а в душе – добрый, заботливый. Ей хочется обнять отца, уткнуться лицом в его могучую грудь и заплакать. Ведь он никогда не даст её в обиду, никогда не отпустит одну в неизведанный, пугающий мир…

Надя понимает, что если не уйдёт прямо сейчас, сию же минуту, то уже не сможет найти в себе силы покинуть родителя.

– И что я буду за дочь такая, если не спасу тебя от позора? – шепчет она и, для пущей уверенности крепко схватив себя за косу, уходит прочь.

* * *

Ночная степь огромна и безбрежна, как океан из нянюшкиных сказок. Высокие травы шепчутся между собою, качаясь от слабого ветерка. И как только не сгорели они в этот

страшный зной?

Уйдя так далеко, что отцовой телеги уж не видать, Надя ложится в траву. Примятые стебли мягко толкают в спину. Кисточки мятлика щекочут шею и щёки. За день нагретая солнцем, степь дурманяще пахнет глиной, полынью, шалфеем и донником.

Небо усыпано мерцающими алмазами звёзд, а луна – теперь уж совсем полная, – сияет ярче начищенного медяка.

Тёплая, что парное молоко, ночь обнимает Надю за плечи, убаюкивает…

* * *

– Глянь-ка, девка!

– Девка и есть!

– И откель здесь девке взяться?

Голоса раздаются у самого уха. Надя просыпается и открывает глаза.

Ночь стоит ещё глубокая, но звёзды с неба исчезли. А огромная луна зависла в пустоте прямо над Надей и обливает её желтоватым светом.

– Кто здесь? – шепчет Надюша, вцепившись в свою косу, как в талисман.

В звенящей тишине раздаются смешки, то приближаясь, то отдаляясь. Надя чувствует, как кто-то ходит вокруг, разглядывает её, касается то макушки, то плеча. Но никого не видно.

– Сарахфант бы с неё снять, – снова шепчет кто-то невидимый.

Надя дрожит и, не в силах даже вскрикнуть, обнимает себя за плечи: таков, значит, будет её конец.

– Зачем тебе сарахфант с девки? – удивляется второй.

– Уж больно искусно вышит поясок-то, да рукавчики, – причмокнув, растолковывает первый.

– Сымай немедля! – гремит над самым Надиным ухом, и лицо обдаёт горячим, смрадным дыханием. – Кто вздумал в степи ночевать, тот должон и заплатить!

Тут же что-то подхватывает Надю с земли, и под дружный хохот невидимые существа быстро и ловко сдёргивают с неё сарафан.

Прикрывая наготу, Надя сворачивается клубком в траве. От стыда и обиды по щекам катятся горячие слёзы.

Горько жалеет Надя о своей скорой, такой ранней и бесславной погибели, жалеет о волшебном своём шитье, подарившем ей многие дни радости. Но горше всего Надюше от того, что не нашла в себе смелости попрощаться с отцом.

Хохот вдруг затихает, и воцаряется такая тишина, что Надя думает: вот и настал час отправиться ей в Навь, к старой-доброй своей нянюшке…

– Ты глянь на бедро-то ейное… – раздаётся вдруг звонкий шёпот.

– Степь честна́я! – вскрикивает другой, тот, которому так приглянулась вышивка на Надином сарафане.

– А ну верни ей платье, быстро, – шипит третий и уже ласково добавляет прямо Наде на ухо: – Прощения просимо, Мастерица! Обознались!

– Мастерица, Мастерица, Мастерица… – несётся отовсюду, словно степные травы ожили и разом решили заговорить.

Сарафан бережно кладут на примятую траву возле Нади. Она спешно одевается и тут замечает, как в лунном луче, у самых её ног, закручивается маленький вихрик. Он быстро растёт ввысь, превращаясь в винтовую лесенку, будто чья-то невидимая рука ловко прядёт её из света.

Ступеньки и перила сверкают золотом и уходят высоко в небо, до самой луны.

– Вставай, Мастерица, – шепчет всё вокруг. – Пора, пора, пора!

Надя поднимается с земли, подходит к лесенке, едва касается кончиками пальцев тонких перил, и те легонько звенят.

«Зовут. Меня зовут», – понимает Надя и делает первый шаг…

* * *

В раздольных степных краях, где ветер нежно гладит высокие травы и шепчет путникам слова на непонятном языке, живут духи разные: злые и добрые, умные да глупые, жадные да щедрые. Но всем им известно, что раз в сотню лет среди людей рождается девушка, отмеченная особым знаком. То богиня луны, Дивия, призывает к себе новую мастерицу-ку-

десницу, дабы та помогала ей сотворять чудеса для подлунного мира.

А люди-то страсть как боятся этого знака, и видят в нём всякое: сатанинское копыто, несчастливое число, абрис дьявола, чёртову метку. Всё это, конечно, глупости. Но что с людей возьмёшь? Они порой не замечают волшебства и под самым своим носом.

Зима на Литейном

В квартирах доходного дома на Литейном зябко и сыро в любое время года, а уж зимой здесь стоит поистине лютая стужа.

По комнатам гуляют сквозняки. Стёкла в рассохшихся рамах покрыты толстым морозным узором и дребезжат от ветра. Входная дверь от влажности разбухает, и чтобы плотно закрыть её, нужно разбежаться и со всего духу навалиться плечом.

Угловая комната на втором этаже служит и спальней, и кухней, и гостиной для её немногочисленных обитателей.

– Кристина, детка… – худая женщина у прялки возле окна замолкает на полуслове, подносит ладонь ко рту и заходится в кашле. Её по-птичьи хрупкое тело вздрагивает под страшные, клокочущие звуки, рвущие грудь изнутри. На бледных щеках загораются карминные пятна.

Длинные пальцы выпускают веретено и впиваются в серую шаль, наброшенную на острые плечи. В слабом и неровном свете свечи шаль кажется ажурной. Но то не кружево, вывязанное умелой рукой, а выточенные временем прорехи.

Девочка лет девяти вскакивает с тюфяка у печки и подбегает к матери.

– Мама, мам! Воды? – но мать лишь качает головой, силясь обласкать и успокоить своё дитя усталым взглядом.

– Кристина, – чуть слышно шепчет женщина, когда приступ отступает. – Поди, снеси немного дров в пятую.

Кристина отводит взгляд. Она смотрит на печку в углу. Там, в полукруглом отверстии за заслонкой, уже истлели и остыли угли.

– Осталось всего две веточки, мама, – Кристина зябко ёжится и прячет бледные пальчики в кулачки.

– Снеси хоть одну, дочка, – настаивает мать. Она притягивает девочку к себе и нежно прижимает к чахлой груди. – Я закончу уж сегодня, а завтра продам на рынке пряжу. Купим ещё дров…

***

Пятая квартира находится в соседней парадной. Кристина кутается в куцее пальтишко, толкает тяжёлую подъездную дверь и выбегает на улицу. Под мышкой зажата тонкая ольховая ветка.

– Криська! – здоровенная ручища хватает Кристину под локоть. – Ух и студёно нынче, а? Ты куда бежишь-то?

У дворника Петра огромный красный нос в противных синих прожилках. Он подгнившей картошкой свисает с лица, а по бокам топорщится курчавая рыжая борода. Пахнет от Петра влажной, полежавшей соломой и чем-то ещё. Чем именно, Кристина толком не знает, но от этого запаха противно ноет живот.

– Я в пятую, к бабе Нюре…

– Тьхфу! – раздражается Пётр. – Сами от голода пухнут, а за мощами ентими ходють. Лизавета-то дохает, аж стены дрожат! – Он брезгливо отталкивает девочку.

Оказавшись на свободе, Кристина не теряет ни секунды: срывается с места и бежит по скрипучему снегу. В спину её толкает хриплый смех и ругань дворника.

***

Крошечная каморка бабы Нюры почти совсем пустая: буржуйка в углу да кровать у стены. Холод тут такой, что кажется, будто и на улице теплее.

На кровать с простым деревянным изголовьем навалена куча тряпья. Кто не знает, может подумать, что под ветошью пусто.

– Баб Нюр? – шепчет Кристина, и маленький холмик на кровати еле заметно шевелится. – Я дровинку принесла. Сейчас затоплю.

– Спасибо, Кристиночка, спасибо, деточка, – скрипит холмик.

Кристина садится на корточки возле печки, открывает заслонку и сгребает в сторонку золу. Затем разламывает хрусткую ветку на три части и обдирает немного коры. Ветки девочка кладет в печь друг на дружку горочкой, а кору – под низ. Из кармана пальтишка вытаскивает коробок. Спичек почти не осталось.

Слабый огонёк занимается с первой попытки. Дерево ве-

село потрескивает, и ледяные пальцы невольно тянутся к теплу.

Кристине хочется поскорее уйти домой, сесть рядом с мамой и смотреть, как пляшет в её тонких пальцах веретено. Но девочка поднимается и подходит к кровати.

– Баб Нюр, попить? – Не дожидаясь ответа, Кристина начинает разгребать тряпьё, которым укрыто дряхлое тело. И старается не дышать.

Вытащив из-за пазухи пузырёк с мутной водой, Кристина осторожно приподнимает старушечью голову, повязанную белым платком, невесомую, словно снежинка.

– Спасибо, дочка, – с трудом проглотив воду, баба Нюра причмокивает впалыми губами. И вдруг открывает глаза. Затянутые бельмами, они страшно светятся в зимних сумерках. – Глянь-ка под периной.

– Что?

– Под периной, – повторяет старуха. – Вот тут, возле ног. Глянь-ка.

Кристина подходит к изножью и засовывает руку под матрас, который старуха почему-то называет периной. Пальцы натыкаются на что-то твёрдое.

Баба Нюра довольно кряхтит и приказывает внезапно окрепшим голосом:

– Тяни!

В руках у Кристины оказывается небольшая деревянная шкатулка.

Бока у неё гладкие, а на крышке вырезан узор, какие мороз рисует на окнах в зимнюю стужу.

– Снеси домой. Это мой подарок, – шепчет баба Нюра, – вам с мамой.

Кристина, с трудом оторвавшись от узора на крышке, подходит к старухе и протягивает руку, чтобы снова укрыть её тряпьём.

– Иди, дочка, – баба Нюра качает головой и вздыхает. – Иди. И я пойду.

Кристину обдаёт ледяным сквозняком, стёкла в рамах слабо дзынькают, и всё вокруг замирает.

Старуха лежит неподвижно. Белые глаза слепо смотрят в потолок.

Девочка пятится к двери, прижав к груди шкатулку. Не оборачиваясь, нащупывает за спиной ручку, выскальзывает наружу и осторожно прикрывает за собой дверь. А потом бросается бежать.

***

Мама спит на тюфяке возле остывшей печки, повернувшись лицом к стене. Пустое веретено лежит на подоконнике, а рядом – небольшой моточек пряжи. Кристина садится на край тюфяка и долго смотрит в стену. Неужели она только что видела смерть? Вот, значит, как умирают? По телу пробегает дрожь.

Кристина переводит взгляд на старухин подарок, прово-

дит пальцами по узорчатой крышке, а потом легонько трясёт шкатулку возле уха. Внутри как будто пусто.

Девочка тянет крышку вверх, и та откидывается с тихим скрипом.

Из шкатулки льётся слабый золотистый свет, такой тёплый, что пальцы на руках начинают болеть, согреваясь. Кристина ставит шкатулку на пол, ложится на бок, прислонившись к маминой спине, и смотрит на золотое сияние, пока глаза не закрываются от усталости.

Девочка крепко спит. Она не видит, как из шкатулки вылетают крошечные снежинки и кружатся в золотистом свете. Облетев комнату, снежинки ложатся на Кристинины ресницы, опускаются на выбившиеся из-под платка волосы, укрывают тонким, невесомым покрывалом и девочку, и её мать.

В квартирах доходного дома на Литейном зябко и сыро в любое время года, а уж зимой здесь стоит поистине лютая стужа. И лишь в одной из них сегодня по-настоящему тепло.